

УДК 394

DOI: 10.17223/2312461X/28/13

У КАЖДОГО СВОЯ СИБИРЬ. ИНТЕРВЬЮ С О. МАНДЖИЕВЫМ

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова

Аннотация. Анализируется малоисследованная проблема – повседневная жизнь депортированных в Сибирь калмыков. Предлагаемый текст конструирует автобиографическую историю известного калмыцкого писателя и сценариста Олега Манджиева спустя более чем полвека. Отец рассказчика – Герой Советского Союза. Его взгляд на военную историю XX в. для нас особенно интересен, как интересны и важны подробности повседневной жизни семьи Манджиевых. В спонтанном биографическом интервью с упором на годы депортации калмыков важны не только приведенные факты и рассказанная история «внутренней» жизни (чувства и мысли взрослого мальчика), но и такие формы нарратива, как сюжеты, образы, оценки, а также лексика и грамматика. Олег Манджиев относится к поколению калмыцких детей, рожденных в Сибири. В интервью он рассказывает о своем детстве в Новосибирске, выделяя такие сюжеты, как практики исключения в школе, личные стратегии сопротивления, переживание стигматизированной этнической принадлежности и принятие Калмыкии как приписанной родины. Особое внимание уделяется языку травмы. Таким образом травматическая память являет себя в спонтанном нарративе: это и сюжеты о нечистотах, гноящемся ранении, болезнях, сравнения с депривированными историческими социальными группами. Текст интервью будет интересен всем исследователям депортации калмыков, а также историкам региона и урбанистам.

Ключевые слова: депортация, калмыки, устная история, нарратив, репрессии, идентичность, Сибирь, политики памяти

С 2004 г. я собираю устные истории калмыков о том, как они жили в депортации. Олег Манджиев – любимый в Калмыкии писатель, заслуженный деятель искусств Калмыкии. Это интервью было записано в Москве в 2008 г. дома у О. Манджиева и Р. Онкаевой. В 1988 г. по сценарию О. Манджиева на Рижской киностудии режиссером Адой Ниретнице был снят художественный фильм «Гадание по бараньей лопатке» о жизни высланных латышей и калмыков в далекой сибирской деревне. Его премьерные показы в Доме кино в Москве и кинотеатре «Родина»¹ в Элисте собирали аншлаги. Это был первый фильм в СССР о депортациях на этнической основе².

Рассматриваемое интервью примечательно также тем, что оно принадлежит не только уважаемому литератору, но и сыну Лиджи Исмаиловича Манджиева, фронтовика, Героя Советского Союза. Ушедший добровольцем в финскую войну, Л.И. Манджиев получил медаль «Золотая Звезда» в феврале 1944 г. за подвиг, совершенный в сентябре

1943 г. при переправе через Днепр. Указ о награждении вошел в силу, когда уже больше месяца был подписан другой указ – об отзыве всех калмыков с фронтов. Под ложным предлогом формирования национальной части на Урале фронтовики были отозваны с фронта и собраны, чтобы определить их в лагерь принудительного труда «Широклаг» (преимущественно рядовой и сержантский состав) для строительства Широковской ГЭС в Молотовском (Пермском) крае (Максимов 2015: 322).

Калмыки, в российской истории не раз защищавшие интересы империи и охранявшие южные рубежи России, участвовавшие в Северной войне, Персидском походе, Отечественной войне 1812 г. с особенным трепетом и гордостью относятся к землякам – героям Великой Отечественной войны. Именно они своей отвагой и судьбой противостояли ложному обвинению в предательстве всего народа. Эта награда как символический капитал заработала в поздние советские годы. А тогда – после войны ее герой, видимо, получил одну привилегию – возможность проживать в большом городе, что удавалось мало кому из калмыков. В этом были свои плюсы – была доступна медицинская помощь, в том числе специализированная, было больше возможности устроиться на работу по выбору и была возможность учиться заочно. Но калмыки, проживавшие в сибирских деревнях, сильно голодали только первую зиму, когда мерзлая картошка и иногда падаль становились кризисной едой. Они быстро стали выращивать картофель на полученных участках земли. В городе было голоднее. Простой народ, тем более ссыльный, жил скромно, еле сводя концы с концами и голодая в 1947 г. после отмены продуктовых карточек.

Текст интервью расшифрован мной дословно, но разбит на отрывки, которым даны названия.

О.Л. Манджиев: Ново/сибирское детство

Я родился в 1949 г. в послевоенном Новосибирске. Тогда дети выросли рано. Четко помню себя трехлетним. Мы жили в Дзержинском районе рядом с проспектом Дзержинского. Там был гастроном – огромный, шикарный. Мне было четыре года, когда умер Сталин. Над гастрономом вывесили его портрет с черной окаемкой и под портретом крестом флаги тоже с черными лентами. Народ сразу притих, ходили молча. Кажется, даже шепотом не разговаривали. Даже в самом воздухе было ощущение чего-то тяжелого, давящего. Я тогда ничего не понимал, осталось вот это ощущение – молчащей тяжести. Весь народ как-то сразу надел траурные повязки. Помню, прибежал домой к маме: «Мам, сделай мне повязку на руку. У всех есть. А у меня нет». Мама ничего не сказала, взяла черную и красную тряпочки. Сшила мне тра-

урную повязку, и я, гордый, побежал на улицу. Теперь я был как все. Полноценный человек.

А отец тогда лежал в госпитале. Он пришел с фронта весь израненный, нервный. От ранения в голову часто терял сознание прямо на улице. Упадет, а мы с братом стоим, не знаем, что делать, плачем. Одна рука у него едва двигалась – почти атрофирована была. Возьмет что-нибудь, а пальцев не чувствует. И все падает – то чашка, то вилка, то сетка.

Тогда еще высланных водили почему-то под конвоем на работу. Помню, за мамой приходил солдат и вел ее на работу. А мы с братом оставались дома. У нас была огромная медная кружка. В нее мама насыпала горох – сухой такой, почти каменный. Ставила ведро воды. И вот целый день мы ели этот горох и пили воду.

Фрукты и овощи в Сибири стоили дорого. Нам родители яблоко купят, на дольки нарежут, тоненькие, почти прозрачные на свет. Мама говорила: ты сразу не ешь, за щеку положи и соси. За щеку положишь, а язык-то шершавый. Раз лизнешь, он уже в дырках. Но запах оставался такой ароматный.

Папа выпишется из госпиталя. Придет домой, увидит нас – голодных. Начинает работать в три смены, чтобы нас хоть немного подкормить. А организм-то слабый. Поработает неделю – две, надорвется. И снова в госпиталь на месяца три. Так я и запомнил его по детству – в госпитале. Худой, бледный, пижама на нем болтается.

Отец работал, а учился по ночам. Русский язык он знал плохо и читал вслух, чтобы русский язык лучше усвоить. У нас была лампа ночная, абажур он сделал из газеты, склеил несколько газет. Ночью проснешься, залезешь ему на спину и чувствуешь, как у него соль катается по спине. То есть он настолько напрягался, аж соль выступала. Так он рвался к знаниям, образованию. Он закончил семилетку, потом десятилетку, потом радиотехникум, потом институт.

Школа

В первый класс я пошел в 55-м. Учительница у нас была Таисия Тимофеевна Бродина. Что-то я натворил, и она меня наказала. Я заплакал. И она мне сказала: «Рано ты, Олег, плачешь. Вот когда ты Родине изменишь, как твои родители, тогда будешь плакать». Это учительница мне – перwokлашке. Такое отношение было везде и во всем к нам, ссыльным. Мы для них – хуже врагов, мы – предатели. Нелюдь нерусская. С нами и разговаривали-то, ломая язык, вроде как адаптируя речь под наше недочеловеческое сознание: эй ты, моя-твоя понимай? Карош-карош? Бельмес?

В нашем классе я один был калмык, а потом пришел Вася Худжинов, был еще один татарин. Это все по мелочам накапливалось. В пионеры меня приняли, но перед тем как принять, встал вопрос, можно ли

меня принять или нет. Это обсуждалось! А почему нельзя? – потому что калмык. В 4-м классе кто-то сказал: да у него отец Герой Советского Союза. Учительница не поверила – не может такого быть. Может, Герой Соцтруда? Не может он быть Героем Советского Союза. Он ведь калмык. И когда узнали, что это действительно так, для многих это был шок. Как это – калмык и Герой Советского Союза.

Девочки мне нравились, но у меня как-то неудачно получалось. Я помню, как-то подошел в четвертом классе к Оле Косачевой, отличнице и красавице. Что-то ей сказал, а она мне – что ты лезешь, калмык вонючий. И я ее ударил. Каждый день перебарывал в себе вот это постоянное ожидание оскорбления, унижения. Отстаивать себя кулаками, ногами, зубами. Такая ошестинистость была – на 360 градусов.

Социализация

Мы жили в Нахаловке. Так в народе назывался район, где жили ссыльные: крымские татары, поволжские немцы, чеченцы, эстонцы, латыши – такой высланный интернационал. Жили дружно, друг друга защищали. Общая беда объединяет. Нахаловка существовала еще до ссылки. Ее основали каторжане при царе. Им нельзя было селиться в общих местах, а рядом. Помните выражение: «Сослать в места, не столь отдаленные...»? Полная жандармская фраза звучала так: «Сослать в места, не столь отдаленные Сибири». А в Сибири каторжан селили в местах не столь отдаленных сел, деревень, городов. Так образовывались Нахаловки. При советской власти туда селили уголовников, которые отмотали свои сроки, но прописаться в городе им не разрешали. Города росли, и впоследствии Нахаловки соединились с чертой города, но контингент Нахаловки оставался, и слава о ее жителях пугала остальное население города. Оттуда, как с Дона, выдачи не было. В Нахаловках скрывались от милиции. Стоило забежать в Нахаловку, постучаться в любую дверь и сказать, как пароль, фразу «За мной менты гонятся» – и тебе помогут. Укроют, спрячут, помогут уйти через заборы и закоулки.

Я помню, как отец первый раз большую квартальную премию получил, они какой-то заказ военный выполнили, отец купил нам коньки-снегурочки, стальные, блестящие. Они завязывались на веревке. Крайне бандитский. Мы катались с братом во дворе, и какие-то русские ребята подскочили к нам и стали их бритвой с нас срезать. Тогда это ценность была. Мимо шел Хасан, крымский татарин, одноглазый такой, гроза района. Он увидел, что с нас срезают. Он казался нам дядькой, ему лет 16, наверно, было. Он их поймал, избил всех и сказал главарю: кто-нибудь этих калмыков обидит – с тебя спрошу, голову отрежу. Потом, много лет спустя, я понял: он видел в нас братьев по несчастью. Мы были в одинаково униженном положении в стране – бесправные,

как крепостные или рабы. Это вызывало сопротивление у взрослых и объединяло. И это были не слова, это было действительно братство. Негласное, тайное сообщество.

Около нашего дома была стройка и там работали пленные немцы. Естественно вышки, охрана, собаки. Мы с ними перекидывались. Они вырезали игрушки и нам кидали, а мы им хлеб и все, что могли.

Рядом был пятиэтажный дом военных, там жили пять генералов, полковники и майоры. Как я понимаю, это был перевалочный пункт военных, возвращавшихся из Германии, Польши, Венгрии, Китая. Они везли целыми составами все, что могли украсть: мебель, посуду, одежду, естественно, игрушки. Парень там был, и у него был танк, предмет зависти всего двора – танк стрелял искорками. Сын генерала выносил его во двор, заводил пружину, и мы заворотно смотрели, как танк движется и стреляет искорками. Когда у детей военных игрушки ломались, они выбрасывали их на помойку. А мы лазили по этой помойке за игрушками.

Наш двор разделялся не по национальному, а по экономическому признаку. Вот богатые. Мы к Кольке заходили, и я видел пивные хрустальные кружки в серебре и с серебряными крышками. Я помню, сел на какую-то табуретку, а это была тумбочка, меня домработница тут же согнала. У них были немецкие столовые серебряные приборы с вензелями.

Мой друг Валерка Новоселов жил с бабушкой без родителей. Бабушка была уборщицей, подъезды мыла. Она вязала коврики из тряпочек, чтобы ноги вытирать, и продавала их, носила по богатым домам. А мы ей помогали. Она продаст, они постелят перед квартирой, а мы вечером зайдем в этот подъезд и украдем, ей возвращаем, и она снова продает.

Сибирь-то вся каторжная. Потому среди коренного населения к нам было какое-то мягкое отношение. Все – потомки каторжан. Только в Сибири есть такие полочки у входной двери. Это с царских времен повелось. На такую полочку по вечерам клали хлеб и сало для беглых каторжан. Чтобы беглый каторжанин, выйдя из тайги, взял еду и снова ушел в тайгу, не замеченный никем. Утром жандарм приходил – хозяева говорили, что ничего не видели.

Я помню, во дворе все взрослые ребята сидели – кто в тюрьме, кто в лагере, кто на зоне. Если ты взрослый и не отсидел, с тобой никто разговаривать не будет. Это было так же естественно и обычно, как сейчас школу закончил. И с детства ребята готовились к тому, чтобы сесть. Кто освобождался, приходил, нам лекции читал. Мы блатные песни разучивали, знали, что творится на зонах. Я тоже проходил уличную школу. Я знал, что должен отсидеть в тюрьме, я же нормальный человек.

Перелом произошел в 1957 г. Спутник запустили, международный фестиваль студентов в Москве. Косыночки на шею, рок-н-ролл, джинсы, бобочки. Тогда психология стала меняться от бандитизма к цивили-

ному. Молодежь разделилась на два лагеря: блатники и стилиги. Блатники – фуфайки на запах, кепки на глаза, папироска в углу рта, фикса, сапоги-хромы в гармошку. Стилиги: яркая одежда, цветастые рубашки, яркие галстуки, узконосые ботинки на микропорке и так далее.

Я помню, меня обидел один взрослый, водой, что ли, облил. Тогда я схватил кирпич и дал ему по башке. Меня боялись и считали, что я без тормозов. Я боялся жаловаться отцу, я понимал, что он обязательно выйдет меня защищать, а тогда он будет один взрослый против двадцати. Просто его убьют. Когда в таком положении, быстро развиваешься. Я понимал, что жаловаться нельзя, это закончится плохо. Смертью.

После смерти Сталина освободили эков. А вся Сибирь покрыта лагерями. И они валом повалили, и весь город был заполнен колоннами уголовников. В Новосибирске сразу появились в 53 г. зарешеченные окна до второго этажа. Двери подъездов исчезли, их выдирали, потому что за дверями часто прятались грабители.

Тогда я играл на детской площадке во дворе. Мимо проходили эки, и они просто так, от нечего делать, взяли меня за ноги и шарахнули головой об асфальт. Я три месяца в сознание не приходил. Тогда мама уволилась с работы и ухаживала за мной. Меня отвезли в село Бугатак к бабке, и она меня вылечила народными методами. Бабку я не помню, но помню деревянную избу, помытые полы пахнут мокрым деревом. Я сижу на табуретке лицом к двери, и на двери распята летучая мышь. Она головой вертит, верещит. А надо мной бабка свинец льет. Что-то шепчет. Несколько раз она свинец отливала, мне показывала. Вначале выходили шипы, потом сглаженное, что-то другое. Постепенно болезнь стала проходить.

В магазин привозили муку, и за ней всегда очередь была. Обычно пацаны зарабатывали по рублю, когда ты свою очередь отстоял, и потом бежишь к какой-нибудь тетке, пристраиваешься. Отстоишь с ней многочасовую очередь, а она тебе рубль за это. На ребенка отпускали дополнительную муку. Всех ребят брали, а меня не берут. Я ж тогда не понимал, что меня за сына не выдашь – я же не русский. И везде так: что-нибудь натворим группой, никого не ловят, а меня всегда. Все русоволосые, а мои черные волосы все запоминали. Черноволосый, значит Олег Манджиев. А они враги народа.

У брата, он на два года старше, наверно тоже были такие проблемы. Но мы это не обсуждали. Это болезненная тема, и никто не хочет расковыривать раны. Я знаю ребят моего поколения, никто не говорит об этом даже в своем кругу. Это как запретная тема. Слишком, наверно, тяжело.

Этничность как стигма

Посмотри, ссыльное поколение, рожденное в сороковые: ведь от постоянного унижения – я не говорю физического, я имею в виду мораль-

ное – мы где-то внутри согнутые. От постоянного чувства не высовываться, спрятаться в толпе, чтобы тебя не увидели, пропала инициатива, загублены многие таланты. Если бы не это, многие ребята проявили бы себя, могли бы быть большими людьми. Но от сознания, что не дадут выдвинуться, потому что калмык, пропадала охота что-либо делать, пытаться.

Даже в том, что все имена русские – это уже о многом говорит. В этом какая-то скрытая попытка подладиться под другой народ, под другую ментальность, быт. Мы же не знали ни «Джангара», ни калмыцких сказок, мы – как пыль на ветру. Без роду, без племени. Нам запрещалось знать.

Везде были сказки – русские, армянские. А калмыцких не было. Калмыки – вообще никто. Пустое место. Эта ущемленность ощущалась постоянно в мелочах. Нечем было гордиться. Как-то мне отец рассказал историю о богатыре, который был пленен и находился в Астраханской крепости. Он сказал: последнее желание попрощаться с конем. Скачет по двору, разогрел коня и перепрыгнул на нем крепостную стену, и только задние копыта задели один из зубцов, и он отвалился. Я помню, как во мне что-то всколыхнулось. Впервые национальная гордость появилась. Я по ночам все время представлял себя им, как я скачу на этом коне.

Еще яркое воспоминание школьного времени. В 1956 г., когда вышел Указ о возвращении калмыков, я помню, отец забегает домой, подбегает к радио, включает на полную мощность, а там калмыцкие песни. У него крупные слезы текут. Впервые я его видел плачущим. Он взял отпуск на три дня, нам купили красивые бушлаты, и каждый день мы с утра ходили на вокзал. Я помню, двери товарняка раздвигаются и на перрон высыпает калмыки. Гармошки, домбры. Люди танцуют. Что-то кричат. Отец стоит и плачет, обнимает всех подряд.

А через дня два-три отец встретил на вокзале своих родственников, которых не видел много лет. Они ехали с Сахалина. Их было много, они подняли меня на руки и на руках передавали друг другу. У меня карманы были набиты деньгами. Потому что по калмыцкому обычаю бельг надо было давать – деньги. Тогда деньги были большие, как полотенца: десятки, полсотни – сантиметров 25–30. Я помню: тогда подумал, е-мое, какой же я богатый человек. Сколько же конфет я смогу купить. Для меня тогда самые шикарные конфеты были «Золотой улей», там внутри конфеты был мед. Я тогда впервые сам побежал в магазин и купил один или два килограмма рублей на десять. Честно признаюсь, подлость совершил, с братом не поделился и под кроватью один съел. У меня потом сыпь на теле вышла. Я понял: это наказание за мою жадность. И еще я запомнил: подлость наказуема. Это был для меня урок.

Это сейчас можно говорить, что это страшно. А тогда... это была повседневность, обыденность. Тогда законов не было. Любой человек мог убить калмыка, потому что он высланный, он был вне закона. Кого убили? – А, калмыка. Или: ну зря ты так, надо было хоть живым оставить. Я до сих пор вижу милиционера и мне хочется перейти на другую сторону улицы, хотя я ничего не сделал. Страх, установка не высываться, не лезть, быть не на виду. Наше поколение не пошло ни в политику, ни в большой бизнес. Это Чехов выдавливал из себя раба по капле, а из нас надо было реками пускать. Ты постоянно настороже, на нерве. Тебя могут оскорбить везде: на улице, в школе, магазине.

В Калмыкии

В Калмыкию мы приехали в 1961 г. Папа уехал, а мы остались в Новосибирске, потому что мой старший брат выиграл сибирскую математическую олимпиаду и попал в первую физматшколу в СССР в Академгородке. Это была школа-интернат. Им специальную форму шили, они в журнале мод выбирали – это в те годы! А тогда физика была самой модной наукой. Небожители. И брат к ним попал. Брат очень хотел остаться учиться в Академгородке, в физматшколе. Но мама не решилась оставить его и уехать в Калмыкию. Депортационный страх-то оставался. Засел прочно. Мы долго решались. В конце концов мы забрали брата и поехали.

Я помню, мы доехали поездом до Ставрополя, там нас папа встречал на газике. Мы сошли, сели и едем по Ставрополю. Ставрополь мне показался деревней, каким-то одноэтажным богом забытым местом. Я спрашиваю: это Элиста что ли? Как мы здесь будем жить? После миллионного Новосибирска он мне показался дырой. Папа говорит: это не Элиста, в Элисту мы еще приедем. А когда мы приехали, я помню кинотеатр «Родина», обком партии, красный дом был разрушен. Жара по нашим сибирским понятиям сумасшедшая – 40 градусов, пыль. Мы с братом по очереди в ванной сидели. Дышать нечем. Я помню, вышел на улицу, пять минут постоял и у меня в глазах потемнело от солнца. Я домой забежал, думаю, господи, ну как я здесь буду жить? Ходить некуда. В Новосибирске мы жили подъезд в подъезд с Бакиновым Аликом, они приехали раньше, и мы через него познакомились с ребятами и быстрее адаптировались.

Наши отцы в то время были непробиваемы, их поколение было просто зомбировано. На родину, на родину, на родину. Для них родина – это все. Отец так Элисту в своих письмах расписывал, елки-палки, сейчас я думаю, откуда такая фантазия. Здесь молодежь одевается моднее, чем в Москве. Яблоки на улице растут и груши на голову падают. А в Сибири яблоко на вес золота. Я никак понять не мог, почему эти ябло-

ки растут и почему их не жрут? Ну как это так? Это все равно что банки с черной икрой на улице стоят, и никто не берет. Бери – не хочу. Действительно, когда мы приехали, у роддома росли и яблоки, и груши.

Отец закупил много арбузов, штук десять, и закатил под кровать. Я в первый раз увидел столько арбузов сразу. И главное, они наши. Не магазинные. Чтобы одна семья могла владеть таким количеством арбузов – в моей голове не умещалось. Это такое богатство. Все равно что советская семья десять «Волг» имеет. Мы их ели-ели, ели-ели. Уже и не хочется. Наешься, потом отойдешь немножко, в туалет сходишь и снова ешь уже от жадности.

Новичков всегда бьют, это принято так, как испытание, которое надо пройти. Но с другой стороны, сибирская обида не выветрилась. Многие вернулись, их дома сохранились, но были заселены хохлами. И они не выселялись, им самим было некуда деваться. А многие помнили, как соседи, когда увозили в Сибирь калмыцкие семьи, на их же глазах бросились грабить их дома. Много таких противоречивых узлов было. И вот такая национальная обида вылилась в уродливую форму. Мне тоже приходилось драться... за компанию. Идешь по аллее, вдруг тебе кричат – эй, эй, пошли, хохлы наших бьют. И деваться некуда. Если ты не пойдешь, ты предателем окажешься. Будешь трус. Демаркационная линия была по роддому и Вечному огню: дальше туда – наши не ходили, те – сюда не ходили.

Когда были процессы над корпусниками... Отец реагировал молча. У него была одна фраза, и меня она ошеломила. У него не было ни ненависти, ни злобы на них, он их жалел очень. Смысл слов был таков, что это обстоятельства, в черный момент судьба их схватила и закрутила. Окажись они в другом месте, все было бы иначе. И осуждать их, ну никак.

В Элисте, у нас в доме в День Победы, после парада, собирались три Героя Советского Союза – М.А. Сельгигов, Б.М. Басанов и отец. И я ни разу не слышал, чтобы они вспоминали войну. Даже в этот святой день. Разговаривали обо всем, только не об этом. Это было святое, а о святом молчат. И я тогда для себя уяснил: те, которые кричат на всех перекрестках, бьют себя в грудь, потрясают медалями и взахлеб рассказывают о своих подвигах – это люди, не до конца хлебнувшие фронта.

Отец только раз вспоминал войну, начал рассказывать страшные вещи и замолк. У меня аж мурашки по спине. Он же войну встретил в первые минуты на границе. Их окружили, и они начали выходить. У него в спине осколок был, и рана стала гнить. Они шли: шестеро русских и один калмык. Они поклялись выйти к своим. В первой же деревне двое остались, их русские женщины пригрели. Потом двое остались, потом еще двое. Из них один и говорит: я-то русский, тут кругом – русские, а ты иди. Такое ступенчатое предательство... Он пошел в лес, сел и заплакал, и щепкой выковыривал червей из раны, они

были белые, жирные и ватой затыкал. «Выковыряю, день иду, за ночь снова черви появляются. Рану обмыть нечем, перебинтовать – тоже. Потом зашел в село, хлеба попросил. Женщина сказала, сейчас вынесу». Отца насторожило, что она как-то засуетилась. Отец быстро спрятался. Женщина выскочила через минуту с двумя немецкими автоматчиками и говорит: он где-то здесь, ищите. Отец закатился в туалет по горло и стоял так до ночи. Ночью только пошел дальше. Он 16 дней выходил из окружения. Это он мельком сказал.

Из рассказанных о депортации историй мне запомнилась такая. Калмыков привезли на какой-то полустанок и выкинули на снег. Подводы за ними не пришли из-за вьюги. И люди трое суток лежали на снегу. Разбежаться нельзя, вьюга. Люди умирали. И монах начинает петь молитву. Он пел, не смолкая, в течение ночи, и буря утихла, началось потепление. К утру монах умер, и пришли подводы. Все, кто спасся, – за счет его голоса и его жизни.

Я в эту историю верю, потому что мне в Лагани рассказывали, что, когда льдину с рыбаками отрывало от берега и невозможно было повернуть, тогда приглашали джангарчи³ и они начинали петь. Они могли силой голоса менять ветер, и льдину возвращало к берегу.

У меня такое ощущение, что все произведения о ссылке, которые были написаны в советское подцензурное время, – это часть правды. А часть правды – это уже не правда, а правдивая ложь. Я это на себе все испытал. Всего, что можно было сказать о депортации, не сказано. Существует внутренняя цензура. От нее никуда не денешься. Какова степень допустимости? Потому что если ты написал правду, не частичную, не приукрашенную, не обрывочную, а ту правду, которая не искажала, не припудрила и не сгладила бы народную трагедию, ты становишься в оппозицию. Ты становишься мини-Солженицыным. Тебя перестают печатать. А за этим кроется: семью надо кормить, то есть ты перекрываешь себе кислород. И хотелось как все, и все-таки... Как-то эту тему пытались обходить.

Однажды мне попадаете статья в «Ойратских известиях» за 1937 г. и начинается она так: «До сегодняшнего дня в калмыцкой писательской организации действовала троцкистско-бухаринско-зиновьевская фашистская группа: Санджи Каляев, Хасыр Сян-Белгин, Хара-Даван...». И там полный разнос идет. Автор Кару Манджиев⁴. Потом как-то в разговоре Санджи Каляев говорит: «мы с Кару». Я говорю – как, он же на Вас донос написал и Вас посадили. – Да, посадили, а потом его посадили. И мы 16 суток в камере смертников просидели, ожидая расстрела. Тебе этого не понять».

По молодости лет я удивился, как это так? И только много лет спустя, как мне кажется, я нащупал ответ. В литературе существует такой термин – принцип закрытого чтения: с высоты сегодняшнего дня мы не

можем судить о поступках того времени, мы судим иначе, мы не влезаем в ту ситуацию, а значит, не можем судить о ней объективно. В сегодняшнем дне все видится по-другому. И все – другое. В одних обстоятельствах человек поступает так, в других – иначе. Я, когда изучал сибирские материалы, думал: а как бы я повел себя в те времена? Я не нашел ответа.

Нарратив как свидетельство

Олег Лиджиевич родился в 1949 г. Калмыки уже были пять лет как высланы. Первые трудности, самые тяжелые, как помнят многие, остались позади. Уже люди не гибли от голода, не ели падаль, их не дразнили людоедами. Но возникали другие проблемы, другие вызовы – у каждого свои.

Первые воспоминания ребенка связаны с важным событием в СССР – смертью Сталина, рубежным событием для СССР. Из рассказа О. Лиджиева мы узнаем, как люди индивидуально маркировали свой траур для публичного обозрения, что даже четырехлетний ребенок чувствовал в этом необходимость и не успокоился, пока мать не сшила ему траурную повязку. Это будут последние похороны генерального секретаря ЦК ВКП(б), в которых публичное переживание смерти руководителя партии и государства как личного горя было обязательно.

По многим рассказам калмыков мы узнаем, что вернувшиеся с фронта солдаты были больны, были измотаны психически, долго лечились, что фронт, окопы подорвали здоровье надолго, если не навсегда. Но только близкая дистанция показывает, в какой степени отцы не были здоровы.

Мы встречаем в нарративе упоминания людей разных национальностей, причем принадлежность к этнической группе подчеркивается особо, поскольку в это время именно та или иная национальность определяла статус его носителя в обществе. Как правило, если национальность указывалась, то речь шла о низком статусе, о чем-то вербально неуказанном, что стояло в стереотипах о его представителях.

Мы жили в Нахаловке. Так в народе назывался район, где жили ссыльные: крымские татары, поволжские немцы, чеченцы, эстонцы, латыши – такой высланный интернационал. Жили дружно, друг друга защищали. Общая беда объединяет.

Случай, когда местный хулиган, крымский татарин Хасан взял под свое покровительство двух калмыцких мальчиков, остался в памяти рассказчика на всю жизнь. Про эту солидарность с такими же представителями наказанных народов долго помнили и другие калмыки того поколения.

Рассказчик упоминает пленных немцев, с которыми перекидывались, используя бартер втемную: игрушки на еду. И они в рассказе предстают почти как свои, ведь мать Олега также уводили каждый день под конвоем на работу. Видимо, она оказалась в трудовой армии. Мы знаем, как в Новосибирске формировали коллективы трудармейцев по опубликованному интервью С.Э. Нарановой (Гучинова 2019а: 410), в том случае вина у девушки была одна – принадлежность к наказанному народу. Но здесь, казалось, иная история: речь идет о замужней женщине, супруге Героя, матери двоих детей – можно было бы и освободить? Но нет.

Принадлежность к калмыцкому народу, обвиненному в предательстве, делала калмыцких детей, рожденных после войны, также неполноценными гражданами страны. В принадлежности к предателю-народу Олега могла упрекнуть даже первая учительница, советский аналог «доброй феи», а может, матери-родины для малышей.

Стыд за принадлежность к народу-изгою вызывал муки совести перед родственниками, поэтому стигматизированная идентичность была болезненным вопросом для того поколения, о котором даже родные братья друг другу не говорили.

Каждый день перебарывал в себе вот это постоянное ожидание оскорбления, унижения. Отстаивать себя кулаками, ногами, зубами. Такая ошестинистость была – на 360 градусов... Ты постоянно настороже, на нерве. Тебя могут оскорбить везде: на улице, в школе, магазине.

Именно об этом писал Э. Гоффман: зная, с чем он может столкнуться, стигматизированный индивид порою заранее внутренне съезживается и занимает оборонительную позицию (Goffman 1963: 13). От отсутствия книг о калмыках страдали и другие калмыцкие мальчики.

Когда я кричал, что не татарин, а калмык, они говорили: врешь ты! Нет такой национальности! Я был книжный мальчик, все искал в книгах и не мог найти упоминания о калмыках. У матери я стеснялся спросить в первом и втором классе. Но потом мне попался один сборник уйгурских народных сказок, изданный еще до войны в Казахстане. В одной уйгурской сказке я встретил упоминание о старом злобном калмыке, с которым воевал главный герой, и это тоже не удовлетворило мое любопытство (Гучинова 2019б: 554).

Про стигму идентичности рассказывали мне и другие собеседники, но только здесь было сказано, что чувство второсортности, неуверенности в своей полноценности, незащищенности не прошло с юридическим равноправием. Политический фактор в обвинении и ощущение нерусской этничности как второсортной, поскольку этническое меньшинство – всегда слабее, всегда подчиняется в иерархических отноше-

ниях, явно чувствуются в приведенном тексте. В общественном сознании всего советского народа осталось нечто неопределенное, вроде «что-то было не так во время войны с этими калмыками», что так или иначе оставляло пятна сомнения в надежности. В приобретенном негативном опыте калмыков осталась «согнутость внутри», то, что О. Мандельштам применительно к другому народу называл «египетская марка».

В вопросах идентификации важными остаются вопросы о границах этнической группы. И для калмыков фенотип становится непроницаемой линией, «железной клеткой» (Takaki 1990): монголоидная внешность не просто выделяла Лиджи Манджиева среди других красноармейцев, не давала раствориться среди славянского населения западной части СССР и делала сразу чужаком для тех мест. Это имело значение. Также выходило и для черноволосого Олега, который не мог прикинуться чьим-то сыном в очереди и заработать и который долго был единственным калмыком (азиатом) в классе. Как писал А. Иванов о причинах, по которым жители Тюменской области не хотели селить у себя высланных калмыков, на первом месте была иная внешность (Иванов 2014: 54). Не случайно образцом физической красоты для калмыков в конце XX в., по данным исследования физических антропологов ИЭА, была такая внешность, в которой монголоидные черты были минимальны: с тенденцией включения в идеальный мужской и женский образы антропологически контрастных черт среди калмыков в объеме, заметно превышающую соответствующую реальную частоту в выборке (Халдеева 1999: 204–205). Можно было носить русское имя, свободно говорить по-русски, не говорить по-калмыцки и не молиться, одеваться так как все вокруг – но фенотип становился тем пределом конструктивизма, который нельзя было перешагнуть.

Нарратив о депортации калмыков часто переходит на язык травмы. Положение калмыков сравнивается рассказчиком со статусом известных в истории подчиненных социальных групп: с крепостными и рабами. Это проявлялось и в низком социальном статусе депортированных на основании принадлежности к «народу-предателю» во всем советском обществе (не было паспортов и свидетельств о рождении), соответственно, очень низких стандартах жизни (кружка гороха и ведро воды как дневной рацион для детей), невозможности отлучиться со своего места проживания без разрешения коменданта, необходимости раз в месяц подтверждать свое присутствие в комендатуре и прочих ограничениях, которые отличали калмыков от свободных граждан СССР.

Еще одним признаком языка травмы являются сюжеты с нечистотами. В этом повествовании речь идет не просто об экскрементах, а об их большом количестве – о деревенском туалете. Рассказан сюжет, который довольно трудно представить: [он] «закатился в туалет по горло и

стоял так до вечера». Использован необычный глагол для человека – «закатился», который редко используется применительно к человеку.

Сюжет про то, как человек прячется в дыре туалета, как и про нагноение раны, которую надо было щепой чистить от гноя, – невозможны для воображения. Это травма так помнит: и забыть нельзя, и помнить трудно, и рассказать невозможно.

Мы знаем, что те, кто рассказывают историю, владеют силой и властью, являясь активными агентами формирования коллективных представлений (Рикёр 2014: 619). И когда три героя войны встречаются после парада 9 мая в Элисте за праздничным столом и, избегая военной темы, молчат... Это молчание можно представить как одну из важных стратегий несогласия с советским каноном репрезентации истории калмыков в годы войны. А травма-пункты военной эпохи – история калмыцкого корпуса, заключение красноармейцев калмыцкого происхождения, отозванных с фронта, в лагере принудительного труда «Широклаг», депортация – в советское время были за скобками какого-либо обсуждения. В интервью представлено ценное для нас отношение к калмыцким военным коллаборационистам – без идеологического клише, без коллективных обвинений.

Два коротких, почти фольклорных сюжета о монахе, остановившем силой молитвы пургу, и джангарчи, который своим голосом смог поменять направление ветра, подчеркивают высокую цену дара и права быть носителями духовности за жизнь своих соплеменников. Мой собеседник упоминал А. Солженицына, а я бы скорее назвала В. Шаламова, тоже сказителя колымского эпоса, за право оставить человечеству свою версию истории виденного расплатившийся самой жизнью.

Калмыки, которые относились к сибирским детям, воспринимали как свою малую родину – как мы видим здесь – Новосибирск с ее Нахаловкой, физматшколой и оперным театром. Но вот «зомбированные отцы» едут на свою малую родину и требуют переезда. И как неохотно собираются в дорогу два брата, как они трудно привыкают к своей приписанной родине – много солнца, нечем дышать, некуда пойти. Зимой 1943–1944 г. старшее поколение приехали из Калмыкии в Сибирь и были сражены климатическим отличием – очень холодно, много снега, лес и тундра. В 1959 г. их дети оказываются в Калмыкии и показывают обратные реакции, но находят и плюсы: арбузы – и все наши, яблоки и груши растут прямо на улице.

Собеседник рассказывает, как происходило районирование Элисты в молодежной мужской среде. Я отношусь к следующему поколению элистинцев, и в конце 1970-х гг. мои одноклассники ходили гулять по парку «Дружба» и им тоже приходилось драться, но «сибирская обида» к тому времени выветрилась (или спряталась), и это было уже другое: стычки мальчиков из центра и парней с окраины.

О. Манджиев поднимает важный вопрос – можем ли мы в полной мере понять сталинскую эпоху? Можно ли написать всю правду? Что это такое – вся правда? Вот это интервью – такое искреннее, волнующее, правдивое – это достаточная правда для историка, если мы имеем дело с биографией одного человека? Вся правда о депортации не сказана, считал О. Манджиев в 2008 г. В советские годы мешала цензура, как рассказал редактор Калмыцкого государственного издательства, дававший подписку в том, что не пропустит материалы о том, что бабушка Ленина была калмычкой и о выселении калмыков (Гучинова 2005, 2019в). Но советские времена давно закончились, и цензура канула в Лету, как прошли те тридцать лет, которые позволяют людям примириться с травматическим событием (Ассман 2014: 25; Pennebaker, Banasik 1997: 11–13). Что мешает рассказать о депортации? Все та же согнутость внутри или это вопрос о свидетеле, который был сформулирован при анализе воспоминаний людей, переживших Холокост: настоящий свидетель стал пеплом, пережившие Освенцим – не полноценные свидетели. Но в случае калмыков депортация народа при всей своей жестокости не была нацелена на уничтожение. В случае калмыков каждый переживший депортацию – свидетель, в том числе все дети, рожденные за Уралом. И этот рассказ Олега Манджиева – тому подтверждение.

Примечания

¹ Этот кинотеатр был одним из мест сбора калмыков в Элисте 28 декабря 1943 г. Но примечательно название кинотеатра – «Родина». Как пронизательно заметили Г. Шагоян и Л. Абрамян (См. Абрамян, Шагоян 2002), структура, прежде чем распасться, является в виде гиперструктуры. В данном случае прежде чем калмыки потеряли родину, их собрали в «Родине».

² Позже будут сняты художественные фильмы «И вечно возвращаться» (2003 г., реж. С. Мартыанов), «Агитбригада “Бей врага!”» (2007. Ленфильм, реж. В. Мельников), «Февраль» (2014. реж. Р. Магомадов), «Приказано забыть» (2014. Грозный фильм, реж. Х. Эркенов), «Хайтарма» (2015, реж. А. Сейтаблаев, Украина).

³ Рапсод, сказитель эпоса «Джангар».

⁴ Все перечисленные имена – калмыцкие поэты и литераторы.

Литература

Абрамян Л.А., Шагоян Г.А. Динамика праздника: структура, гиперструктура, антиструктура // Этнографическое обозрение. 2002. № 2. С. 37–47.

Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: НЛЮ, 2014.

Иванов А.С. «Изъять как антисоветский элемент...»: калмыки в государственной политике (1943–1959). М.: Научный совет при Президиуме РАН по военной истории, 2014.

Максимов К.Н. Калмыкия и калмыки на защите Отечества (первая половина XX в.). Элиста: Джангар, 2015.

- Гучинова Э.-Б.М. Две истории о депортации калмыков // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 400–442.
- Гучинова Э.-Б.М. У каждого своя Сибирь. Интервью с С.М. Ивановым и С.Э. Нарановой // *Oriental Studies*. 2019а. № 3. С. 397–492.
- Гучинова Э.-Б.М. У каждого своя Сибирь. Интервью с В.П. Санчировым // Монголоведение. 2019б. № (3). С. 543–563.
- Гучинова Э.-Б.М. У каждого своя Сибирь. Биографическое интервью с Е.А. Буджаловым // Монголоведение. 2019в. № 3. С. 222–269.
- Рикёр П. Память, история, забвение. М. : Издательство гуманитарной литературы, 2004.
- Халдеева Н.И. Антропоэстетические исследования в теории и практике // Мужчина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы / отв. ред. А.Н. Седловская, И.М. Семашко. М.: ИЭА РАН, 1999. Т. 1.
- Goffman E. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. N.J. Prentice Hall, 1963.
- Pennebaker James W., Banasik Becky L. On the Creation and Maintenance of Collective Memories: History as Social Psychology // James W. Pennebaker et al. (Hg), *Collective Memory of Political Events. Social Psychological Perspectives*. Mahwah, New Jersey, 1997.
- Takaki R. *Iron cages: race and culture in nineteenth-century America*. Oxford University Press; Reprint edition (May 10, 1990).

Статья поступила в редакцию 21 января 2020 г.

Guchinova Elza-Bair M.

EVERYONE HAS THEIR OWN SIBERIA: INTERVIEW WITH OLEG MANDZHEV

DOI: 10.17223/2312461X/28/13

Abstract. The article deals with an understudied issue, that of the daily life of Kalmyks deported to Siberia (1943–1956), and includes an introduction, an interview with the famous Kalmyk writer and screenwriter Oleg Mandzhiev, and an analysis of the discursive strategies he uses in his narrative. The text constructs an autobiographical story more than half a century after the actual events, making the daily life of Mandzhiev's family all the more interesting and important, particularly given that the narrator's father had received the title of 'Hero of the Soviet Union' and his view of the twentieth-century military history is of special value. In an unplanned biographical interview focused on the years of the deportation of Kalmyks, important aspects are not only the mentioned facts and the growing boy's feelings and thoughts, but also the narrative forms, such as plot, images, judgements, lexical composition, and grammatical structures. Oleg Mandzhiev belongs to the generation of Kalmyk children born in Siberia after World War II. In the interview, he talks about his childhood in Novosibirsk, highlighting topics such as practices of exclusion in school, personal resistance strategies, experiencing stigmatized ethnicity, and accepting Kalmykia as an attributed homeland. Particular attention is paid to the language of trauma, through which traumatic memory manifests itself in a spontaneous narrative: these are stories about feces, festering wounds, and diseases, with parallels drawn with deprived, historical social groups. The article will be of interest to all researchers of the Kalmyk deportation, to historians of the region and urbanists alike.

Keywords: deportation, Kalmyks, oral story, narrative, repressions, identity, Siberia, politics of memory

References

- Abramian L.A., Shagoyan G.A. Dinamika prazdnika: struktura, giperstruktura, antistruktura [The dynamics of feast: structure, hyperstructure, and antistructure], *Etнографическое обозрение*, 2002, no. 2, pp. 37–47.
- Assmann A. *Dlinnaia ten' proshlogo. Memorial'naia kul'tura i istoricheskaia politika* [Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik]. Moscow: NLO, 2014.

- Ivanov A.S. «*Iz "iat' kak antisovetskii element..."*»: *kalmyki v gosudarstvennoi politike (1943–1959)* [“To confiscate as an anti-Soviet element...”: Kalmyks and the state policy (1943–1959)]. Moscow: Nauchnyi sovet pri Prezidiume RAN po voennoi istorii, 2014.
- Maksimov K.N. *Kalmykiia i kalmyki na zashchite Otechestva (pervaia polovina XX v.)* [Kalmykia and Kalmyks defending Homeland (the first half of the 20th century)]. Elista: ZAO «Dzhangar». 2015.
- Guchinova E.-B.M. Dve istorii o deportatsii kalmykov [Everyone has their own Siberia: Two stories of the Kalmyk deportation], *Antropologicheskii forum*, 2005, no. 3, pp. 400–442.
- Guchinova E.-B.M. U kazhdogo svoia Sibir'. Interv'iu s S.M. Ivanovym i S.E. Naranovoi [‘Everyone has their own Siberia’: Two stories of the Kalmyk deportation (Interviews with S. M. Ivanov and S. E. Naranova)], *Oriental Studies*, 2019a, no. 3, pp. 397–492.
- Guchinova E.-B.M. U kazhdogo svoia Sibir'. Interv'iu s V.P. Sanchirovym [‘Everyone has their own Siberia’: A biographical interview with Vladimir P. Sanchirov], *Mongolovedenie*, 2019b, no. (3), pp. 543–563.
- Guchinova E.-B.M. U kazhdogo svoia Sibir'. Biograficheskoe interv'iu s E.A. Budzhalovym [‘Everyone has their own Siberia’: A biographical interview with Yegor A. Budzhalov], *Mongolovedenie*, 2019v, no. 3, pp. 222–269.
- Ricœur P. *Pamiat', istoriia, zabvenie* [La Mémoire, L'histoire, L'oubli]. Moscow: Izdatel'stvo gumanitarnoi literatury, 2004.
- Khaldeeva N.I. Antropoesteticheskie issledovaniia v teorii i praktike [Anthropo-aesthetic research in theory and practice]. In: *Muzhchina i zhenshchina v sovremennom mire: meniaiushchiesia roli i obrazy* [Man and woman in the contemporary world: changing roles and profiles]. Eds. A.N. Sedlovskaiia, I.M. Semashko. Vol. 1. Moscow: IEA RAN, 1999.
- Goffman E. *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. N.J. Prentice Hall, 1963.
- Pennebaker James W., Banasik Becky L. On the creation and maintenance of collective memories: History as social psychology. In: James W. Pennebaker et al. (Hg), *Collective memory of political events. Social Psychological Perspectives*. Mahwah, New Jersey 1997.
- Takaki R. *Iron cages: race and culture in nineteenth-century America*. Oxford University Press; Reprint edition (May 10, 1990).